



VII. ПЕРВЫЕ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Желание писать и печататься все сильнее овладевало Чернышевским. Он верил, что недалек, может быть, тот день, когда двери редакций распахнутся перед ним и он войдет в них полноправно и смело.

С некоторых пор каждый новый том «Отечественных записок» и «Современника» он уже рассматривал не просто как читатель, а словно бы участник изданий, которому важна и интересна всякая мелочь: формат листов, шрифты, расположение статей внутри отделов, подзаголовки.

В это время у Чернышевского созрел замысел описать полную драматизма историю, слышанную им от знакомого земляка, — историю одной девушки, попавшей в дурное общество и очутившейся в конце концов на скамье подсудимых.

Некоторое время он колебался, не зная, остановиться ли ему на повествовательной форме, или написать нечто вроде рассуждения о воспитании.

Горестная история Жозефины (так звали эту девушку) заинтересовала Чернышевского как яркое подтверждение его мыслей о негодности принятой системы воспитания.

Следуя ей, все стараются скрывать от детей темные стороны жизни, тогда как надлежало бы объяснять им все, безбоязненно показывать все в истинном свете, быть товарищами во всей их жизни, чтобы не было у детей причин замыкаться и таить от взрослых что бы то ни было.

Писалась «История Жозефины» трудно и медленно. Только предисловие, в котором Чернышевский доказывал необходимость знакомить детей с отрицательными сторонами действительности, вылилось у него свободно и легко. А потом стали одолевать его всевозможные сомнения.

Несмотря на то, что он из предосторожности решил назвать в повести девушку не настоящим ее именем, а Казимирию, все же подлинность события стесняла его свободу, — он опасался, что сочинение это может когда-нибудь попасть в руки тех, кто без труда узнает в героине Жозефину.

Написанное казалось ему временами настолько невыразительным и бледным, что у него пропадала всякая охота продолжать. Он видел, что достоверность происшествия исчезает под его пером, а придать этой истории характер поэтической истины он еще не умел. Несколько раз Чернышевский вовсе бросал повесть, но потом опять возвращался к ней и снова испытывал изнуряющие муки авторства. И все-таки мало-помалу она двигалась вперед и приближалась к концу.

Контора «Современника» помещалась у Аничкова моста, в доме Лопатина. Бывая в гостях у своего однокурсника Славинского, жившего поблизости от этого дома, Чернышевский часто проходил мимо редакции и не раз испытывал острое желание хоть одним глазком взглянуть на скрытую от посторонних взглядов обстановку, в которой создавался журнал. Он был

одним из тех читателей «Современника», которые с волнением ждали в начале каждого месяца появления очередного номера журнала. Пока что он был только читателем. Несколько лет отделяло тогда Чернышевского от той короткой, но необыкновенно бурной поры его жизни, когда, вступив в редакцию, он сам стал у руля «Современника».

Намеченный Чернышевским день для похода в «Современник» с повестью «История Жозефины» падал на среду. Накануне вечером он набросал короткое письмо в редакцию, в котором объяснял цель своего сочинения, основанного на достоверном происшествии, и окончательно проверил большую часть аккуратно переписанной рукописи.

Сдав ее в «Современник», Чернышевский долго с нетерпением ждал ответа из редакции, но проходили дни и месяцы, а никакого известия не было.

Между тем предстояли переходные экзамены. Он намеревался писать у Срезневского сочинение «на медаль», если окончательно выяснится, что в «Современник» его повесть не принята.

Немногие из профессоров умели так увлечь студентов, как это удавалось Срезневскому. Он заставил их горячо полюбить Колара, Мишкевича, славянскую речь и славянскую музу. Но вместе с тем не многие из профессоров были так взыскательны, так неподкупно строги, как Срезневский. После экзаменов симпатии студентов к нему сразу остыли. Наиболее нерадивые из них роптали на него и требовали от других, чтобы и они «прекратили сношения с Срезневским».

Чернышевский и Корелкин считались лучшими учениками Срезневского на втором и третьем курсе. Оба они работали для него над словарем к русским летописям, и оба начали готовить в 1848 году сочинение «на

медаль» по кафедре славянских наречий, за что и подверглись нападкам со стороны товарищей. Корелкин, однако, остался глух к упрекам недовольных и продолжал искать сближения с профессором. Но Чернышевского эти выпады смущали и заставляли задуматься. После долгих колебаний он принял все-таки окончательное решение не писать «на медаль». Оставив мысль о сочинении, он не бросал, однако, работы над словарем к летописям, надеясь довести ее до конца, сколько бы времени это ни потребовало. Если Срезневский не переменится и отношения с ним останутся натянутыми, то работу можно будет представить непосредственно в Академию наук.

В глубине души Чернышевский жалел, что сам лишил себя возможности представить сочинение «на медаль». И чем меньше оставалось времени до акта, на котором объявлялись результаты соискания студентами наград, тем острее становилось его сожаление. Ведь на 1849 год будут объявлены темы сочинений по другим кафедрам, и со славянской филологией придется проститься...

Ежегодно 8 февраля, в день открытия университета, происходил торжественный акт в присутствии министра просвещения, попечителя учебного округа, представителей знатнейшего духовенства, почетных членов университета и других высокопоставленных лиц. По заведенному обычаю, ректор делал в этот день годичный отчет о работе университета. Затем следовал ученый доклад кого-либо из профессоров, а в заключение — раздача наград за сочинения. Тайна конкурса позволяла участвовать в нем не только тем, кто мог безошибочно рассчитывать на успех, но даже и тем, кто уповал лишь на слепую удачу. Фамилии авторов были скрыты под девизом. По рассмотрении

сочинений сначала каждым профессором «по принадлежности предмета», а потом в факультетских собраниях заключения последних поступали на утверждение совета, в присутствии которого вскрывались пакеты с именами тех, чьи сочинения оказались не отвергнутыми.

Таким образом, самолюбие потерпевших неудачу не подвергалось публичному испытанию. Существовало три вида наград: почетный отзыв, серебряная и золотая медали. Получение золотой освобождало награжденного от обязанности представлять впоследствии особую диссертацию на степень кандидата.

Чаще всего сочинения «на медаль» писались студентами старших курсов, успевшими присмотреться к профессорам и до некоторой степени освоить избранную дисциплину.

Когда в феврале 1848 года по философскому факультету были предложены две «задачи» — одна относительно летописи Нестора, а другая касательно персидских поэтов Саади и Гафиза, — большинство однокурсников Чернышевского считало, что ему обеспечена золотая медаль по первой теме. И только немногим, рьяно руководившим «борьбою» против Срезневского, еще в середине года стало известно, что Николай Гаврилович отказался на этот раз от мысли подавать свою работу. Но и они, впрочем, не были окончательно убеждены в том, что Чернышевский останется верен своему заявлению и действительно удержится от соблазна получить неоспоримую награду.

После краткого выступления Срезневского, прочитавшего очерк истории русского языка, приступили к раздаче наград.

Чернышевский знал, что за диссертацию о летописи Нестора, которую он не захотел окончить и подать, награда будет дана сегодня Корелкину. И все же он

несколько пожалел о том, что не стал писать сочинения «на медаль», когда услышал, как зачитывали, что «В силу 103-го параграфа устава императорских российских университетов диссертация под девизом: «А словенск язык и русской — един» призвана достойной издания в свет иждивением университета, а сочинитель ее, студент 3-го курса разряда общей словесности Николай Корелкин, по определению совета университета, награждается золотой медалью...»

После оглашения тем на 1849 год Чернышевский решил непременно представить сочинение на тему «Жизнеописание афинянина Клеона».

Чем более приближалась пора окончания университета, тем настойчивее вставал перед ним вопрос об избрании будущего пути. Завязать связи с журналами все не удавалось. Ни «Отечественные записки», куда он пробовал обращаться несколько раз с прошлого, 1848 года, ни «Современник», в который он отнес «Историю Жозефины», не открыли перед ним дверей.

Надо было запастись терпением и подумать об иных возможностях зарабатывать на существование. Надо было искать сближения с профессорами факультета и готовиться к научному поприщу.

В мае 1849 года прошли последние переходные экзамены. Чернышевский почти не готовился к ним и все-таки получил пятерки по всем предметам, кроме греческого.

По рекомендации Срезневского Чернышевский некоторое время работал сотрудником у исследователя Сибири, члена Географического общества И. Д. Булычева, делая выписки различных сведений о Сибири для будущего ученого труда этого исследователя.

Случилось так, что и Чернышевский и его будущий ближайший соратник по «Современнику» Добролюбов, оба прошли в разное время «школу Срезневского». Начало научно-литературной деятельности того и другого связано с этой школой. У Чернышевского — в 1848—1853 годах, у Добролюбова — в 1853—1856 годах. И узнали они друг о друге (еще до личного знакомства) через своего профессора.

Убеждения, характер дарований, темперамент Чернышевского и Добролюбова не позволили им замкнуться в узко научной сфере филологии. Рано или поздно они должны были «изменить» и своему учителю и его дисциплине.

Покровительство, проявленное Срезневским по отношению к двум будущим вождям освободительного движения шестидесятых годов на заре их юности, примечательно и вовсе не так уж случайно. Отчасти по собственному опыту, а еще более по биографии своего отца Срезневский превосходно видел, что значило тогда выбраться на дорогу даже и весьма талантливому человеку из среды разночинцев.

Несгибаемого упорства и выдержки требовала жизнь от людей этого круга, и он не мог не сочувствовать их стремлению проложить себе путь к науке.

Чернышевский принадлежал к первому поколению учеников Срезневского по философскому факультету Петербургского университета. Из всех профессоров, которых довелось ему здесь слушать, самое сильное впечатление осталось у него от Срезневского. Привлекал он к себе оригинальным складом ума, вдохновенного и иронического одновременно, смелостью анализа, насмешливым отношением ко всякой казенщине, к «приказным», как называл он администрацию университета, и главное — неугасимой верой в науку,

энергией и трудолюбием, желанием пробудить в каждом ученике самостоятельность взглядов.

Срезневский старался привлечь лучших студентов в возделыватели того поприща, на котором подвизался сам. Теперь уже окончательно убедился Чернышевский, что хотя и очень строг и требователен молодой профессор, но вместе с тем справедлив и сердечен к людям. И чем ближе узнавал Измаила Ивановича, тем большим уважением проникался к нему и даже готов был последовать его советам посвятить себя всецело изучению славянских наречий, несмотря на то, что предмет этот привлекал Чернышевского гораздо менее, чем история или философия.

То была самая живая пора славянских увлечений Срезневского. Он хлопотал перед Академией наук о периодическом издании, посвященном славистике. Второе отделение Академии наук, образованное из бывшей Российской академии, словно ожило с появлением в нем первого в России доктора славяно-русской филологии. И когда он сказал Чернышевскому, что пришла пора подготавливать исподволь работу, которую можно будет опубликовать в будущем журнале, тот, ни слова не говоря, ревностно принялся — благо подошли каникулы — за оставленный им с прошлого года словарь к летописи Нестора.

Много предстояло ему потрудиться, но упорству его не было границ. Обдумав сперва самую систему составления словаря, испробовав всевозможные способы расположения материала и остановившись на том, который показался ему наилучшим, он приступил к делу, не подозревая, насколько трудоемкой окажется эта работа.

В прошлом, 1848 году Чернышевский ограничился лишь отрывочными опытами — он начал тогда прямо

с княжения Изяслава. Теперь его труд должен был охватить всю «Повесть временных лет».

По всегдашней своей привычке быть в работе пунктуальным до мелочей, он точно рассчитал, сколько времени потребуется на каждый отдельный ее процесс: на разлиновывание листов, на выписку слов, на разметку страниц и строк,— словом, на всю ту подготовительную стадию исследования, которая сопряжена была с чисто механическими процедурами. Чернышевский подбирал различные сорта бумаги, цветные чернила и карандаши, делал смеси чернил, ища упрощений, выточил цифры из дерева, чтобы не писать их, а прямо печатать. Были дни, когда он по восемь-десять часов, не разгибая спины, возился с этим словарем, желая представить Срезневскому не проект, а уже выполненную вчерне работу.

Казалось бы, все у него было рассчитано наперед: столько-то недель на выписки, столько-то дней на проверку текста, столько-то часов на линование. Но выписки и разметки составляли только малую и далеко не главную часть работы, трудоемкость которой увеличивалась по мере того, как он продвигался вперед.

Порой Чернышевского приводила в отчаяние все возрастающая медлительность, с какой осуществлялось это непомерно кропотливое дело. Только спустя полгода после начала работы над словарем, когда он попробовал окончательно отделать букву Д, он ясно понял, что для завершения работы потребуются еще не месяцы, а годы.

Срезневский не ошибся: исследование увидело свет. Но случилось это лишь через четыре года.

И в ту пору, когда Чернышевскому пришлось править корректурные листы этого словаря, он жил уже

совсем иными интересами, готовясь вступить на боевое поприще критики и публицистики.

Вскоре у Чернышевского снова возникла мысль попытать свои силы в беллетристике. Это была уже третья попытка после «Истории Жозефины».

Одним из толчков к рождению замысла новой повести была, между прочим, незадачливая судьба Лободовского. Как-то вечером после разговора с ним Чернышевский раздумывал, о чем написать повесть: «Вывести ли главным лицом Василия Петровича и его характер и то, как подобным людям тяжело жить на свете, или о том, как вообще тяжела участь женщины, или, наконец, о том, как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевают им и сомнения в этих убеждениях, и нерешительность, и непоследовательность, и, наконец, эгоизм действует сильнее, чем в случаях, когда он должен отвергать его для общепринятых уже в свете правил, и т. д.». Он выбрал последнее.

Так возникла повесть, которую он назвал «Теория и практика». Неопытность его как беллетриста сказалась тогда не только в наименовании повести. Тут слишком много рассуждений, сюжет развивается чересчур искусственно, в обрисовке героев преобладает схема. Но этот ранний опыт интересен тем, что отдельные мотивы и общая идея его были впоследствии широко развиты в романе «Что делать?», хотя с первого взгляда кажется, что ничего сходного произведения эти между собою не имеют.

Повесть эта особенно интересна потому, что является одним из ярких примеров непосредственного влияния Герцена-философа на молодого Чернышевского.

Несомненно, что не только общая идея, но и название повести связано с рассуждениями Герцена

в третьей главе его статьи «Дилетантизм в науке», где автор ставит и решает в духе материалистического миропонимания философский вопрос о соотношении теории и практики, убедительно доказывая необходимость их неразрывного единства.

Герцен рассматривает в статье высказывания различных мыслителей на эту тему и ясно показывает на множестве примеров, что мысль бессильна в отрыве от живой действительности, что *«слово не есть еще деяние, которое выше речи»*.

В статье приведено, между прочим, одно из положений Аристотеля, которое и взял Чернышевский в основу не только идеи, но и названия своей повести — «Деяние есть живое единство теории и практики».

Обращая свой взгляд в будущее, Герцен писал: «Может, мы (русские. — Н. Б.), мало жившие в былом, явимся представителями единства науки и жизни, *слова и дела*» (то-есть *теории и практики*. — Н. Б.).

Теперь легко понять, насколько тесно связаны между собою юношеская повесть Чернышевского и его знаменитый роман «Что делать?», — связаны не только по идее, но даже и по названию.

Две темы особенно роднят ранний беллетристический опыт Чернышевского с его романом «Что делать?». Это, во-первых, участь женщины в тогдашнем обществе и, во-вторых, вопрос о новых нормах поведения. Многостороннее содержание «Что делать?» далеко не исчерпывается этими темами, но они занимают очень большое место в романе. Над решением проблем, поставленных в нем, Чернышевский задумывался уже в ранней молодости. «Теория и практика» писалась в ту пору, когда только началось формирование его революционно-политических убеждений. Роман же явился плодом зрелой мысли сложив-

шегося писателя, обогащенного опытом революционной борьбы. В повести многое лишь смутно намечено, тогда как в романе писатель ясно показал, что значит следовать своим убеждениям в жизни, что значит слить свои интересы с интересами передовых слоев общества, при каких условиях женщина будет окончательно раскрепощена. Идея, вложенная в название ранней повести Чернышевского, со всею силою проявляется в романе, где автор, характеризуя поведение своих героев — Лопухова и Кирсанова, постоянно напоминает о том, что их дела и поступки неразрывно связаны с их убеждениями, с их особой теорией «эгоизма» («Зато и какое же наслаждение было Кирсанову, как *теоретику*, любоваться своею ловкостью на *практике*...» «Приятно человеку, как *теоретику*, наблюдать, какие шутки выкидывает его эгоизм на *практике*» и т. д.).

Решение, которое ускользало от двадцатилетнего Чернышевского, автора повести «Теория и практика», было впоследствии найдено им в «Что делать?». Создавая «Теорию и практику», он только смутно предчувствовал неизбежность рождения людей новой формации. В шестидесятые годы сама жизнь поставила перед ним прототипы его героев.

Юноша Чернышевский намеревался показать в своей повести исключительного человека — с «совершенным отсутствием эгоизма». Но эта задача не была решена им, может быть, потому, что герой остался без среды и как бы повис в воздухе. В романе «Что делать?» мы видим реальную растущую силу носителей освободительных идей шестидесятых годов.

«Недавно зародился у нас этот тип, — писал Чернышевский. — Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как

исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то-есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности... Недавно родился этот тип и быстро расплождается. Он рожден временем, он знамение времени...»

Еще в одном отношении интересен ранний беллетристический опыт Чернышевского: герой «Теории и практики» наделен чертами характера самого автора. Вот как характеризовал своего героя Чернышевский: «Не встречалось мне никогда человека, жизнь которого была бы так верна его убеждениям, который бы в такой степени неуклонно принимал в расчет то, чего требовала, по его мнению, совесть, истина или обязанность... «Как думает, так и поступает он», — говорили про него все, как бы ни странно делал он, как бы поступок ни противоречил общепринятому порядку вещей, он не колебался делать его, как скоро, по его мнению, должно было поступить так, а не иначе... Точно так же еще менее, разумеется, можно было ожидать от него, чтобы он когда бы то ни было отступил от исполнения своих убеждений, потому что оно потребует какой бы то ни было жертвы, — ни денежные расчеты, ни противоречие естественных склонностей тому, что требует от него его убеждение, ...ни даже то, что через это разрушится его спокойствие или что для этого нужно будет пожертвовать какой-нибудь дорогой для него привязанностью, не могли заставить его не сделать то, что он, по его мнению, должен был сделать...»

Любопытно, что сходство главных черт характера героя «Теории и практики» с характером автора было

тогда же угадано двоюродным братом Чернышевского А. Н. Пыпиным. В письме к Д. Мордовцеву в 1850 году Пыпин писал: «Он (Чернышевский) такой человек, которого я никогда не видал, да и никогда, верно, не увижу. Я не знаю, как описать тебе его характер (ты его не знаешь); если бы где-нибудь был изображен такой характер, я бы указал тебе... Недавно читал он отрывок из повести, рассказа, или как угодно назови это... он говорил мне, что ее написал один из его приятелей, но я с большей вероятностью предполагаю, что писал он ее сам; всё в ней его, и, между прочим, там был один характер, совершенно снятый с него, — характер не из обыкновенных, пошлых характеров... Как ошибся бы тот, кто сказал бы, что нет в нем участия ни к чему; нет, в нем так много участия, что я до сих пор не могу привыкнуть видеть в нем это».

